Общая газ. – 1995 – 4-10 мая – с 6, 7

Лия и Меджид

Двойной портрет с портретом на столе

Папа – режиссер, народный артист Адыгеи. Дочь – актриса, народная артистка России. Мама тоже была актрисой, вот уже несколько лет Меджид Салехович и Лия Меджидовна Ахеджаковы встречают День Победы без нее...

Богу угодно было, чтобы мы оказались соседями. И наш разговор в первый день мая – тоже, в общем-то, соседский, незапланированный. Слушая потом запись, я подумал: лучшие интервью – все-таки те, к которым собеседники не готовятся. Спасибо случаю. Свои вопросы я опустил: я – четвертый лишний в разговоре Лии и Меджида, при котором присутствовала еще – на фотографии – и их Юля.

М.П.

– В мае 45-го года я жила у маминых родителей в Харькове, и ты знаешь, пап, я очень хорошо помню, что такое победа. Память у меня плохая, но это я помню. У меня было единственное парадное темно-красное платье – мама мне его сшила из обрезков от какой-то оперетты – и такой же огромный бант. «Маркезит», что ли, он назывался, этот материал? Он вот так торчал на мне во все стороны. Победа, 9 мая, я стою одна во дворе, ни праздника не чувствую, ничего... темный двор-колодец и какой-то кусочек, как у Достоевского, солнышка, и я в его луче, обновленная, в шикарном платье с бантом, стою одна, и никого вокруг нет.

– Лиля, а ты разве уже не в Майкопе была?

– Нет, я была в Харькове, у дедушки с бабушкой.

– Ну да, Харьков, я не спорю... Это наверное потому, что мама в Майкопе тогда очень тяжело болела.

– Вот именно: меня вы держали у дедушки с бабушкой, потому что я, шестилетка, не могла с двумя туберкулезниками жить.

– Видишь, ты помнишь, а у меня этот день как-то плохо в памяти остался... были спектакли, как обычно. Может, даже два или три спектакля... Вообще, если бы не война, мы бы жили в Москве. Мне ведь и в Художественном театре предлагали остаться после стажировки в ГИТИСе, и в институте предлагали педагогом-ассистентом работать, но все война разрушила. В первые дни почти все ушли на фронт, а я был тяжело болен, поэтому меня не взяли в военкомате. Я записался в Краснопресненский полк народного ополчения, вместе со всей профессурой ГИТИСа, но меня и оттуда тоже выгнали. Потому что был такой профессор Якобсон, и он в полку, когда кто-то пришел из высокого начальства, сказал: «Вы этого мальчика уберите. Он пять минут назад кровью харкал!» Начальник выругался, какую-то бросил фразу своему помощнику, и меня выгнали. Я со стыдом вспоминаю, что в трамвае все мне уступали место: женщины, старики, старухи – потому что я был в полувоенной форме, и они думали, то ли я в военкомат еду, то ли прямо на фронт. А мне – я остро это помню – стыдно, что я возвращаюсь...

– Пап, нужно тебе, чтобы это в газете было?

– Ну, я просто рассказываю...

– Но это будет в газете!

– Да, про это не стоит, пожалуй... Ну вот. А потом, вместе с адыгейской студией театра, меня откомандировали в Майкоп. Ее выпуск был как раз в июне 41-го. Через год, когда немцы подошли к Майкопу, все ушли на фронт, весь театр, остались только женщины да я.

– И большинство ушедших погибло.

– Да, они погибли почти сразу. А меня на носилках – я тогда опять со своим туберкулезом слег – вынесли в Дагомыс, а оттуда покатили аж в Красноярский край, и там мы встретились опять с женой Юлией. Она, выехав с днепропетровскими театрами в Сибирь, поступила в Красноярскую филармонию и с Феоктистовым-балалаечником, и скрипачом Гольдштейном с концертами объездила весь край. Собирали на этих концертах подарки фронту.

– Пап, расскажи, как ты организовал Театр оперетты.

– Ну, это потом, уже в 43-м году, когда Майкоп освободили от немцев, меня Центральный Комитет направил опять домой.

– Как это Центральный Комитет?

– Да, меня как коммуниста через Центральный Комитет отправили, а иначе я обратно не попал бы. В Майкопе в это время были какие-то группы артистов разрозненные, и опереточные, и драматические актеры, и я из них музыкально-драматический театр собрал: часть, значит, работала в музыкальной комедии, а часть в драматической труппе, а в каких-то спектаклях обе труппы были объединены.

– Расскажи, что вы ставили и как ты сам пел.

– Да ну, господи!

– Не да ну, господи, а это самое главное!

– Ты так считаешь? Ну это очень просто: мужчин почти не было в театре, и я никогда в жизни не предполагал, что мне придется играть роли какие-то. И не готовился к этому, я был просто режиссером. Пришлось играть. Это был очень смешной, будем так говорить, период, когда я сегодня играю Иосифа Сталина в «Чекистах», а на следующий день прыгаю в оперетте Бонни, пою и танцую. Вот так и было...

– Папа, дай я поговорю теперь. Я сейчас вспомнила, как сразу после войны поехала с мамой на выездной спектакль, наш автобус увяз в грязи. На тракторе притащили его к сельскому клубику, очень холодному, в зале сидели в ватниках старики и женщины. На сцене поставили задник – березовую рощу, зажгли свечи, потому что нет же электричества. Корсеты, кринолины, фраки, белые парики... Тянулось все долго, перевалило за полночь. И я помню, как тихонько рабочие скатывают березовую рощу, потом тихо стали уходить какие-то части декорации. А актеры доигрывали, и в зале человек тридцать [illegible] завороженные [illegible] ердинанда[illegible]ми, [illegible] холодные, с похоро[illegible] На днях умер режис[illegible] Иосиф [illegible]имович Хейфиц – и он как раз про это поставил фильм «Заблудившийся автобус» – историю артистов, которые после войны, выезжают в эти холодные станицы, с детьми, с тещами, с тазами. Я там сыграла «борзую» – актрису, которая организует эти выезды, распространяет билеты, устраивает жизнь своих товарищей. И мама моя тоже в то время была такой вот «борзой».

– Не «борзой», а заместителем по гастролям! Лиля, конечно, у тебя очень детские впечатления, но я должен сказать, что это был не жалкий передвижной театрик, это был на Северном Кавказе лучший театр, с большой труппой! У нас был замечательный репертуар, сплошные аншлаги. Театр был ведь удивительным местом в те годы. Все-таки у нас было тепло, светло, люди могли не только увидеть спектакль – они в театре встречались, обменивались новостями. И когда мы видели заполненный до отказа зрительный зал, мы думали только о том, чтобы люди отвлеклись ст своих бед...

– Однажды – ты помнишь? – откуда-то привезли маму, было начало зимы, а на ней пальтишко «рыбий мех», мокрое насквозь. Она по дороге на спектакль вывалилась из кабины грузовика в грязь, и на ней сразу все обледенело. Она приехала в эту самую станицу, ее затянули в корсет, она сыграла спектакль – и поехала домой в этом мокром и грязном пальто...

– И назавтра – опять спектакль! Мы все о таких вещах не думали. И как мы в принципе могли думать о чем-то, кроме нашей работы, нашего искусства, когда выступаешь в госпитале, а зрители однорукие хлопают этой своей единственной рукой по коленке – вот так они нам аплодировали!

– Самое страшное, что и я прошла через такие выступления, через сорок лет после войны. Перед инвалидами-«афганцами», в Хабаровске, в чудовищном заповеднике закрытом, о котором и в городе-то мало кто знал... Вы с мамой выступали в войну перед калеками, я – перед обрубками, привезенными из Афганистана, скоро, наверное, позовут меня выступать перед инвалидами Чечни. Весь этот век русские актеры должны почему-то играть перед инвалидами – что же это за судьба у нас такая!.. Все самое светлое, что было в нашей культуре в этом веке, – создано в самые мрачные годы. Почему вдруг во время войны народ бросается в театр? Непонятно. Хотя так – всегда. Удивительная вещь. Или так обязательно надо, чтобы топор висел над шеей, и тогда из горла льются чистейшие стихи и божественная музыка? И еще одна вещь, удивительная в судьбе нашей культуры: каждый, кто ее несет, кто ей служит, – как дерево, в котором каждое годовое кольцо помнит, знает, что такое топор, что такое жажда, что такое мороз, что такое огонь. Все это каждый день во мне, хотя у меня еще нет колец, которые есть у других – когда папа с мамой в лагере. А ведь есть же мои сверстники, которые и родились в лагерях, – что же они познали? Наша культура истинная заключает в себе такие страшные кольца, и поэтому, наверное, в ней не перестает биться «тайная струя страданий» – то, что у Пастернака. Может, в этом и отличие этой культуры. И ее прелесть и сила.